

Елена
Скульская

НАШИ МАМЫ
покупали вещи,
чтобы не было
ВОЙНЫ



Роман «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны» — детектив, скорее даже триллер, где смерть стоит на пути почти всех героев. Толчком к кровавым событиям становится выход романа малоизвестного писателя «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны». Роман лежит без движения в магазинах целый год, и вдруг его покупают восемь читателей. Есть ли между ними какая-то связь? Что их заставило сделать эту покупку? Писатель, страдающий всю жизнь от непонимания и всем пожертвовавший литературе, решает разыскать восьмерых покупателей его книги и, возможно, почитателей его таланта. Но не смотря на то, что живет он в крошечном городке, где все друг друга знают, встретиться со своими читателями писателю безумно трудно. Почти все они загадочным образом умирают перед самой встречей, словно сама покупка книги, содержание которой так никто никогда и не узнает, становится роковой. Писатель пытается распутать кровавый сюжет, ведущий в тупик...

Елена Скульская

НАШИ МАМЫ ПОКУПАЛИ ВЕЩИ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

ПИСАТЕЛЬ

«В нашем городе между смертью и похоронами даже в июльскую жару непременно проходят две недели. Они выделяются на приведение в порядок скорбных дел, чтобы каждый провел их в занятиях своим траурным костюмом», — написал я и задумался. Точно ли я выразил свою мысль? Всем ли будет понятно? Очень трудно выполнить задание мэра. В нашей уважаемой газете «На краю» я возглавляю отдел происшествий и легко справляюсь со своей работой, могу даже, как это модно сейчас, зарифмовать пару-тройку абзацев. Поэтому мэр и поручил мне написать путеводитель по нашему городу; мне, разумеется, было приятно получить такую почетную нагрузку, но вот нести ее, оказалось, совсем не просто. Тут нужно полностью перестроиться и отдать себе отчет в том, что ты пишешь именно путеводитель, а не очередной газетный материал. Путеводитель — книга, которую, не то что газету, прочтут не раз и не два. В газете все по-другому. В газете я бы в

совершенно свободной манере написал эту главу; подчеркнул бы, что в нашем городе между смертью и похоронами даже в июльскую жару непременно проходят две недели. Они выделяются на приведение в порядок скорбных дел, чтобы каждый провел их в занятиях своим траурным костюмом. Сшить костюм заранее тем, кто впоследствии будет приглашен на похороны, положительно невозможно, ибо если даже смерть человека и предрешена, то надежда на скорейшее и полное выздоровление все-таки должна поддерживать умирающего, и как бы выглядели его родные и близкие в его глазах, если бы вместо того, чтобы держать его за руку, измученную болезнью, кидались бы по портным и бегали бы по примеркам и, отдуваясь, роняя пакеты, отряхиваясь от мелких свертков, из которых непременно выпрыгивала бы резво пуговица с серебряной отделкой и переливчатая тесьма, ерзая, уползала бы под больничную кровать, залетали бы к нему на минутку, присаживались бы торопливо на уголок стула или край матраса, и, отвечая невпопад, прикидывали, все ли у них закуплено на первый случай — для заказа и примерки. И отрывисто бы так вскрикивали: «Да!», «Нет!», не говорили ли бы покойно «Д-а-а», «Нет-нет-нет-нет», торопились бы, обдавали умирание духами «Элефант», махали в дверях, вскинув молодую челку черной вуалетки,

вдруг возвращались бы, склонялись, и глаза умирающего тут же наполнялись бы слезами, но, увы, они склонились не для глаз его, что им глаза, которым не прикажешь: «Смотреть в глаза!», когда глаза закрыты и вместо шор чернеет крышка гроба, чтобы с пути не сбиться в тьме посмертной, о нет, зачем, они теперь склонились лишь для того, чтобы вымерить пространство для будущего наклоненья кружев в прощальном поцелуе или локон хотели лишь отмерить для объятий с холодным телом, на какое с криком они падут потом, а нынче молча примериться должны и постараться не показать виновнику торжеств всех сложностей их приуготовлений...

Совсем не просто с путеводителем. Очень точно нужно понимать, куда и зачем ты ставишь то или иное слово. Не то что мой знакомый писатель — он писатель, а я, значит, просто журналист, и он все время подчеркивает, что журналист писателю не чета, но все равно с ним никто особенный не общается, и он довольствуется моим обществом, — так вот он считает, что о смысле не нужно беспокоиться, он никуда не денется — будут слова, будет и смысл. Нужно заботиться о словах. Он сейчас написал новую книгу и начал ее так: «Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны». Мне начало понравилось, я бы сам хотел начать свой

путеводитель какой-нибудь такой емкой фразой. Это ведь очень по-человечески и очень понятно, что наши мамы после войны стали покупать вещи. Особенно, знаете, такие хрупкие и нестандартной формы, чтобы невозможно было упаковать, или там громоздкие, что не то чтобы с собою взять, но и из комнаты-то одному не вытащить, не говоря уже о бегстве с узлами и тюками, куда там! Наши мамы наверняка покупали вещи, чтобы не было войны.

Но дальше я читать его книгу побоялся, чтобы не разочароваться; у него и раньше отдельные фразы удачно выходили, удачно-то удачно, а все равно как фарш из мясорубки, — вылезает каждая фраза из своей ячеи, а какое она имеет отношение к другим фразам — не понятно. Обычно я прочту, а скрыть своего разочарования не умею: юлю, изворачиваюсь, вру, что еще не прочитал, но он непременно прижмет меня к стенке и все выпытает. При этом клянется, что мое мнение никак не скажется на наших отношениях, а когда я миролюбиво сознаюсь, что не понял, что к чему, когда добавлю, что, вероятно, не дорос еще до его уровня, то он тут же начинает кричать, что он и его писания — это одно и то же, и если я не люблю его книги, то ненавижу его самого. Я замолкаю, мы все-таки приятельствуем, хотя он и считает меня только журналистом, а себя писателем. Но меня

читают все, а его не читает никто. Потому что он эгоист и ничего не хочет сделать для читателя. Ничего, чтобы читатель понял. Я ему не раз и не два говорил, что должно быть что-то общее, какое-то общее место, общий случай, связывающий людей, а у него сразу начинают проступать красненькие прожилки на щечках пожилого мрамора, он вскидывает свой востренький подбородок, словно подбородок его — лодочка, ударившаяся о рифы и застывшая на секунду перед тем, как расколоться в щепы, и выкрикивает: «Общий случай в литературе — толковый словарь, там нет ни одного непонятого слова! Читай словарь!» Верхние зубы у него похожи на плиссированную юбку, неужели нельзя привести в порядок?! «При чем тут словарь?! У тебя вообще нет ни одного понятного слова!» — тут я обрываю разговор и иду писать свой путеводитель, который будут читать сотни и тысячи людей.

Потому что в нашем городе все очень разумно устроено, не так, как у других.

У нас учитываются интересы всех людей без исключения.

О подготовке к похоронам я уже рассказал. На похороны всегда все приходят свежими и

нарядными. Наряд, конечно, не главное на похоронах, а все-таки приятно рассмотреть обновки друг друга, да и между кремацией и поминками не чувствуется такого большого контраста, как у других, — там просто явное недоразумение, несоответствие: только что плакали, рвали на себе волосы, а вот уже выпивают и поют. А у нас во всем чувствуется торжество, предвкушение. Без перегибов, разумеется. Вот, скажем, в нашем крематории не рекомендуется курить и стрелять; это всем известно, и люди, как правило, приходят на похороны без оружия — во всяком случае, никто и никогда не поднимал у нас руки на покойника. Конечно, бывало, могли из баловства засунуть усопшему в рот сигаретку, но дальше этой невинности не шли никогда. А почему, да для чего, вы спросите, не курить и не стрелять? Да только для того, чтобы, выйдя, затануться с особым удовольствием, с нежностью согреть в руке рукоятку пистолета. А как же!

Когда мне поручили писать путеводитель, писатель особенно озлился на меня — он боялся, что я не включу его в достопримечательности. Тут важно понять, что он мне никогда не завидовал. Нет, скорее, я ему отчасти завидовал, сам не зная почему. Он именно озлился. А я как раз включу его в путеводитель. Не так уж много в нашем городе

писателей, чтобы мы о них молчали. Другое дело, что у нас, слава Богу, демократия, и никого нельзя заставить покупать книги, если они не нравятся. Он мне сказал, что эта-то его книга, про наших мам, непременно станет бестселлером. Да с какой стати! Кто его станет покупать? У него и друзей-то никогда не было, которых можно обязать. У него никого не было, кроме тараканов, про которых он говорил, что они похожи на дирижеров, поминутно одергивающих свои фракки; музыку он, правда, любил, тут я не буду спорить, но вы бы слышали, что он несет про композиторов, про Прокофьева, например.

Он говорил, что наших мам погубил Прокофьев; он его называл альбиносным тараканом в запотевшем заграничном пенсне, он считал его преступником, вором, с фраерскими — небо в клеточку — диезами, с несознанкой бекаров; считал жестоким — ни одной опрокинутой алебарды бемоли, никогда; а они любили его; и когда его окрик хватал их за воротники, хватал их за выходные крепдешины и прибивал гвоздиком к стене так, что дергались над землей раздраженные лягушачьи ляжки (он не просто жестокий, он еще и трус, трус с особой, изощренной жестокостью), — когда оглушала одним ударом его не терпящая возражений музыка нестерпимой доктрины с

выправкой оттянутого носочка ритмического расчета, когда, тиская пространство, покрывая и ёрзая, двигалась его главная любовь — армия, у которой не бывает профиля, ибо все головы, подобно нотным знакам со свернутыми шеями, свернуты набок, к трибунам, тогда они просили пощады, но было поздно, уже статуей — в туче теней молнией — шел Рок, топоча, ломая веронские порталы, проваливаясь в оркестровые рытвины, и хореограф прятался в бархат надувных китайских фонариков — буфов, но буфы разламывались наподобие вязких апельсинов, и из них доставали хореографа, и он радостно умножался, ликуя копией на одном и одном месте тысячи быстрых раз...

Он когда говорил о музыке, я сам начинал отчасти поддаваться его словам, невольно начинал подражать ему, повторять за ним слово в слово, потому что наши мамы и правда любили Прокофьева. Когда наши мамы умерли, а они умерли почти одновременно несколько месяцев назад, они дружили всю жизнь и курили одинаковые папиросы «Казбек»; они скатывали крохотные катышки из ваты и запихивали их в бумажные мундштуки, чтобы дым был мягче и женственнее, то в память о наших мамах мы с ним вместе собрались и поехали на «Ромео и

Джульетту» в Мариинский театр и в бирюзовой имперской роскоши увидели красного брата Лоренцо, приседающего в третьей позиции на манер тюльпана, готовящегося к скабрёзности, — как сказал о нем писатель.

Может быть, в тот вечер мы и могли бы сблизиться по-настоящему. Мы вышли из театра и подошли к реке, а по воде плыла лодочка, и в ней, обнявшись, мужчина и женщина; женщина была в крепдешинном платье с фонариками, как у наших мам, только на месте носа у нее была гипсовая нашлепка. Это все испортило. Будто женщина была не настоящая, будто из фанеры или картона, хотя потом я узнал, что так бывает, если она лечилась в отделении челюстно-лицевой хирургии, если у нее был сломан нос. Но пока лодочка не поравнялась с нами, мы очень хорошо говорили, и писатель все повторял, что, мол, наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны. Что поэты были их способом быта, методом интерьера. Что наши мамы не жили в долге, блаженствуя по-рахметовски. И все от Пушкина. Пушкин потому что любил долг. Он даже «Дубровского» написал после истории с «Ромео и Джульеттой». Веронский сюжет был построен на женской верности. Пушкин удивился: верность по любви? Что за доблесть такая?! Верность по любви — тавтология. Скучно. Маша Троекурова пошла у

него под венец с Верейским и ему стала хранить верность. Татьяна Ларина пошла за генерала и стала ему хранить верность. Пушкин оскопил русскую литературу ровно на любовь. Зато и умереть не дал. Зато отправил жен за декабристами, и расцвели науки в Сибири. Долг долголетен, медленен и длинен. От него рождаются дети, у любви на них вечно не хватает времени.

Отцы у нас умерли за несколько лет до мам. Мой отец умер просто так, а отца писателя убили. В случайной уличной драке, мимо которой он не сумел пройти. В нашем городе очень узкие улочки, что я, разумеется, отметил в своем путеводителе, а отец писателя к тому же хромал; после войны он вернулся с одной ногой, привык к протезу, но как-то странно широко отставлял его в сторону; еще палка, на которую он опирался, еще приверженность к одному и тому же маршруту, где он изучил каждую фасолину бульжников наших старинных мостовых. Словом, он, хоть и пытался, никак не мог разминуться с дракой, толкался, тыкался, прокладывал себе путь палкой и был убит. Убийцу поймали.

И тут писатель, вызывая раздражение всего города — своих потенциальных читателей, — усомнился в гуманности наших законов. Я

подробно излагаю их в своем путеводителе, но мне всегда приятно напомнить их магистральную линию. Нам чужда ветхозаветная этика — глаз за глаз и зуб за зуб. А потому убийца у нас всегда получает срок в два раза меньший, чем ему удастся отнять. Я согласен с писателем в одном пункте — гуманность достается нам дорогой ценой: старики, калеки, неизлечимые больные постоянно находятся в опасности, ибо знают, что жизнь их совершенно обесценена в глазах потенциального убийцы, что любой маньяк, любой охотник, не получивший у зеленых лицензию на отстрел зверя, может практически безнаказанно истреблять их или, как у нас шутят, навечно прописать в землянке. Но с другой стороны, не это ли придает калечной скуке старческого ветеранского дребезжания некоторый азарт, пиль, тубо, о-о, тю-тю, бо-бо...

В путеводителе я остановился на конкретном примере с отцом писателя. Он хорошо себя чувствовал, рассчитывал пожить еще лет десять-пятнадцать; убийца, значит, мог схлопотать от пяти до семи с половиной. Так? Но вскрытие совершенно неожиданно показало, что у отца писателя был неоперабельный рак поджелудочной железы. Человек предполагает, а Бог располагает. Жизни в нем оставалось при самом свободном припуске на Божье провидение месяца на два-три.

Убийцу никак не могли осудить больше чем на шесть недель.

Мне нравятся наши законы. А писатель о них просто не думал, пока не коснулось его лично. И вот именно для себя он захотел исключения, чтобы именно убийцу его отца наказали не так, как наказывают у нас всех. Пришлось ему объяснять, что у нас не будут писать отдельные законы для писателя и его родственников. Ну он и наломал тогда дров! Он взял и не пригласил на поминки убийцу своего отца. То есть нарушил важнейшую гуманитарную традицию нашего города: непременно с назидательной целью присутствует убийца на похоронах своей жертвы. Но и жертва в лице родственников непременно должна пригласить злодея на поминальный ужин, аллегорически символизирующий равенство всех людей перед таинством смерти, перед Богом, если угодно, и, если уж на то пошло, не судите да не судимы будете...

Мы очень крупно тогда поссорились, долго не общались. А потом умерли наши мамы. Тут-то он и решил написать книгу, чтобы бросить в лицо своим согражданам правду. Помилуйте, кто станет покупать книгу, чтобы узнать о себе правду?! И какую правду?! Щечки пожилого мрамора,

дирижеры-тараканчики, самому уже пятьдесят лет днями исполнится, а все еще хочет жечь читателей каленым железом глагола, будто читатели — Миледи из «Трех мушкетеров», у которой на плече была выжжена лилия с тремя лепестками (будто на заборе красуется такое цветистое словечко из трех букв), но писатель своего коллегу Дюма, конечно, не читал, он гораздо выше.

Он заявил, что выскажет им всю правду через Шостаковича. Прокофьева, значит, оставил в покое, а взялся за Шостаковича. Ну и понес, понес, что, мол, у Шостаковича непризывное, комиссованное плоскостопие нот. И наши мамы его любили по-тыловому. У него сплюснутые ноты; их можно было подсунуть под дверь, да они сами туда проползали по-пластунски, зажав в зубах подпольную чеку звука, грохались, прокатывались, их можно было свернуть трубочкой и засунуть в уши, проткнуть ими барабанную перепонку в клаустрофобию глухоты, чтобы уже не могли настичь раззевавшиеся мегафоны, плиссированные патефоны, липкие улитки валторн, пожирающие тянувшийся смысл; а девки в деревнях после войны, когда запрещены были аборты, несчастные девки запихивали в себя, как хмель в подушку, такие длинные черенки нот, чтобы вызвать выкидыш. Это правда, наши мамы не хотели нас, им пожить

хотелось, аборт был запрещен, отцам нашим очень хотелось после войны детей; да, высохшим черенком его ноты можно проковырять замочную скважину у себя на груди и верный калибр прижать к ней... Неровные края перекатов Шостаковича — словно прищемленный подол, и вырываются с ситцевым треском; бетонные корыта общественных прачечных щелоком выщипывают его слезы. «Моя Марусенька, танцуют все...»

Наши мамы покупали вещи, чтобы не было войны. Длинное блюдо с бортиками, на дне которого была нарисована нарезанная селедка с зелеными фонтанчиками лука из вынутых глаз, а у другого блюда в ногах и головах были диванные валики, и на дне у него был нарисован сыр с крупными потными дырочками; было совсем маленькое, почти и не блюдо, а так, вытянутое блюдце с одноглазой килечкой, плоско, по-плацкартному устроившейся на дне; еще было много сервировочных — это чем брать то, что кладется на блюдо в соответствии с рисунком на дне — трезубцы, полумесяцы с режущими краями, крошечные половнички со свернутыми набок утиными носами; варили холодец, и дети в чесночном, прачечном, дымно-влажном, пухлом, сытном угаре сзывались обсасывать кости; мозговые выбивали о тарелку, намазывали на хлеб

и солили; при детях рассказывали страшные любовные истории, маскируясь и запутывая следы; например, говорили: «А он тогда поехал к ея сестре» и делали ударение на «ея», которое дети не понимали; жили компаниями — любили слова «анчоус» и «кабачок», но никогда не клали в салат «оливье» вареную морковь, не делали селедку «под шубой» со свекольными залежами, припорошенными сыпью мятых яичек...

Им всегда было нечего надеть, зачем мы только вышли из гоголевской «Шинели»?!

Правда, я уже сознавался, иногда я попадал невольно под его влияние. Ну да Бог с ним, я занятой человек, не так-то часто мы с ним и видимся; на мне отдел происшествий нашей уважаемой газеты «На краю», на мне путеводитель по нашему городу, пусть он сам справляется со своей жизнью. Ну, он и написал свою книгу о наших мамах, которые покупали вещи, чтобы не было войны. Я прочел, как уже говорилось, первую фразу, она мне даже понравилась, не похоже, во всяком случае, на ту абракадабру, которой он всегда старается нас унизить. Он мне сказал, что в книге у него действует писатель, то есть он сам — один к одному. Только ничего этот писатель не действует, а тоже пишет ту же самую книгу о

наших мамах. Книга поступает в магазины. Долго лежит без движения. Год. Не тронут ни один экземпляр. И вдруг в течение восьми дней ее покупают восемь человек. И тот писатель решает разыскать всех восьмерых, чтобы поговорить с ними. То есть понять, нужна его книга людям или не нужна. Если не нужна, то прав я: нужно писать о том, что людям интересно и понятно, и даже приятно, а не то, что в голову взбредет. А если нужна, то прав писатель: писать нужно только о том, что хочется, случайно писать, как Бог на душу положит.

Ну, разыскать в нашем городе человека совсем не трудно. Город у нас маленький и уютный. В нем очень много ресторанов и кафе. Мы с писателем обычно встречались в кафе, построенном в виде корабля, застрявшего в балтийском редколесье. Нам это нравилось, наши отцы были моряками. Штурвал походил на поминальный венок с запахом хвойного усердия. Там писатель и рассказал мне о тех восьмерых. Что хочет их найти и окончательно решить наш с ним спор. Ничего другого ему в жизни не оставалось, я согласился. И даже взялся ему помочь найти всех восьмерых.

Один экземпляр купила красавица, похожая на черную цесарку со вздернутым и распущенным

хвостиком, с балетной поступью тоненьких ножек, а перья и грудка нависают над тоненькими ножками, как балетная пачка, а на лбу ошметки черной челки. Второй экземпляр купил органист из крематория. То есть не совсем органист, а тот, кто нагнетает воздух в меха органа; он опирается руками о деревянную перекладину и стучит, стучит ногами, обутыми в деревянные лыжи. А жена его в это время заливает водой пол в зале, потому что органу нужен влажный воздух, а иначе лицо его растрескается и старость иссушит его дубовые каменные бока. Третий экземпляр купила хозяйка, живущая разведением крохотных рыжих собачек, похожих на говорящих опят, на грибах, облепивших ее, как пень в лесу. Четвертый — семилетний мальчик, *enfant terrible*, пытавшийся выковырять глаза пьяному бомжу, а если не выковырять, то хоть проткнуть их, как пчелу. Пятый достался экскаваторщику; он так любил свой экскаватор, что всегда подвозил его после работы к дому и только там прощался с ним до утра, а экскаватор всегда задирает на прощание ковшиком на манер примата, хотя он был гораздо умнее. А шестой купила девушка по кличке Глазунья; она вся была нежно-желтого, янтарного цвета, и ее груди поднимались двумя теплыми маленькими глазуньями. Седьмой достался мебельщику, специалисту по мягким тканям и сиккативам — не

было случая, чтобы он привез заказчице ладно натянутую свою работу, а она бы не предложила ему опробовать ее вместе. Восьмой экземпляр купила поэтесса, стихи которой писателю очень нравились; одно он даже переписал и на всякий случай оставил на своем столе.

ПОЭТЕССА

Перво-наперво писатель стал упрашивать меня разыскать поэтессу. Поэтесса работала в крематории. А мне как раз в это время и нужен был крематорий для моего путеводителя. Крематорий — весьма существенное место в жизни нашего города. Часть помещений с морально устаревшими печами отведена под музей-ресторан: там по выходным и праздникам принято бывать всей семьей: пока взрослые спокойно обедают, дети свободно бегают вокруг большого стола, на котором чего только нет — и хрустящий сладкий хворост, выпеченный прядями вьющихся волос, и орешки в виде зубов, обернутые золотой и серебряной фольгой, и детские тувельки из шоколада с глазурированными пуговичками, карамельными застежками, марципановыми бантиками, а то попадется и самый настоящий шнурок от ботиночка — то-то хохота!

В хорошую погоду столики выносятся на

природу и там, с приглашением артистов нашего замечательного городского театра, над живописным обрывом инсценируются массовые расстрелы. Я, кстати, всегда с удовольствием смотрю программу, где бывает занята наша ведущая драматическая актриса, похожая на красавицу-цесарку. Обычно она идет на расстрел, поддерживая своего тяжело раненного друга. Он постоянно падает, задыхается, поднимается, идет, а ноги у него не поспевают за ходьбой. Красавица-цесарка вновь и вновь помогает ему подняться, помогает принять пулю и упасть наконец с облегчением. Потом она долго стоит над обрывом, как бы оглядываясь и прощаясь. Она успевает заметить рябину, вдруг вспухшую и ударившую в грудь огнем!

Писатель никогда музей-ресторан не посещал, но в разговорах со мной, ничего не видя и не зная, совершенно огульно высказывался за его закрытие и подвергал сомнению его очевидную воспитательную функцию. Эдак он бы велел и картину «Гибель Помпеи» снять со стены!

Я предложил писателю пойти в крематорий вместе, тем более что поэтесса работала не в музее-ресторане, а совсем в другом отделе — она читала стихи перед кремацией. Правда, писатель и в этот отсек крематория никогда не ходил,

манкируя даже самыми ответственными и представительными похоронами. Исключение он сделал только для своих родителей, но и там начудил. Однако, как иначе узнать, что именно поэтессе понравилось или не понравилось в его книге? Надо идти. Так нет! Идти со мной он категорически отказался, но просил меня и даже не просто просил, а как-то особенно, демонстративно унижался передо мной, чтобы я нашел ее сам и непременно сам же у нее у первой из восьми выпросил мнение о его книге. Столько лет он не вспоминал о поэтессе, наотрез отказывался о ней говорить, а тут приспичило!

Когда-то поэтессу очень хорошо знали в нашем городе, но потом она подписала контракт, по которому обязалась создавать свои произведения только для нужд крематория, обязалась жить на его территории и стараться ее не покидать. Это очень понятные и правильные условия работы в крематории — одно дело, если мы сами посещаем крематорий, другое — если крематорские служащие будут постоянно попадаться нам на пути, отвлекая, так сказать, от суетных дел, без которых еще никому не удавалось обойтись. К тому же время от времени крематорий проводил «День открытых печей», и тогда все жители нашего города пусть и добровольно, но все-таки в

обязательном порядке посещали хотя бы центральную усадьбу, над которой бьет на ветру транспарант: «Для тех, кто любит погорячее», а так-то каждый был волен и вовсе не думать ни о печах, ни о колумбарии.

Поэтесса, естественно, почти никогда не выходила за ворота крематория, но у самих ворот я ее видел часто, мне кажется, сами ворота она очень любила. На воротах — мертвая бронзовая чайка военной выправки. Она заключена в бронзовый круг. Разъяв круг, можно раскрыть ворота; чайка расщелкивает свое тело и делится на две части; ворота закрываются — и чайка восстанавливается. Согнув крылья и щелкнув каблуками, она прижимает кончики перьев к швам, голова в лысом старческом пушке ложится в профиль, выскакивает задвижка породистого клюва с горбинкой, с сухо поджатой в обиде нижней половинкой.

Писатель многие годы избегал встреч с поэтессой (а в нашем маленьком городе это очень и очень сложно), и никто точно не знал, что именно между ними произошло. Мы ведь все трое учились в одном классе, и однажды она попросила меня передать письмо писателю, то есть тогда еще не писателю, нам было по четырнадцать лет, и она еще не была поэтессой, но к сентябрю как-то

необыкновенно вытянулась, у нее появилась привычка часто-часто моргать, я догадался, что это — чтобы скрыть странный тонкий красный ободок вокруг глаз, а когда она замирала и сидела, совершенно не смаргивая, то зрачки ее казались тоннелями, топками, дулами, лазами, и чудилось, что какой-нибудь крохотный юркий зверечек может туда проникнуть глубоко-глубоко, как бесследно, бывает, влетит птичка со всем своим длинным хвостиком в какой-нибудь глазок здания и исчезнет навсегда; значит, она попросила передать письмо, и я совершенно случайно, просто-таки машинально прочел его, и ничего не понял. Там говорилось, что она впервые увидела молодой, зеленый, небритый крыжовник, выглядывающий из-под бровей куста. Еще говорилось, что в прачечной в подвале окатывает такая жажда, что кажется, сейчас выжмешь камень, песок, щебень и напьешься до отвала.

Все в этой истории было странным и нездоровым. Прежде всего то, что она выбрала именно его, а у него тогда уже были мраморные щечки, правда, без красненьких пока прожилок, тогда уже задирали он подбородок на манер лодчонки, и всегда покрикивал, взвизгивал, и еще у него была привычка дергать что-то невидимое на шее, будто там у него ошейник или поводок, а он не

может расстегнуть его одной рукой, а вторая будто занята и не хочет помочь первой.

Долго никто ни о чем не догадывался, но потом нам всем троим пришло время участвовать в Дне признаний. Тут мэр просил меня быть особенно внимательным в разъяснениях для путеводителя. Охотно. День признаний только называется Днем, а на самом деле это несколько недель, в течение которых каждый житель нашего города участвует сначала в трех предварительных мероприятиях — марше саморазоблачения, певческом празднике огласки тайны и торжественном обряде преступления клятвы, а затем наступает завершающий карнавал с переодеванием и выдаванием себя за другого. При этом каждому вменяется в обязанность выдавать себя не за какую-то абстракцию, а за конкретного своего врага, тщательно имитируя его привычки, прочерчивая его морщины на своем лице и сжимая его жесты в своих собственных руках.

Некоторые так натурально изображают и так увлекаются, что начинают сами себе плевать в лицо, ругаться, бить палкой, падают иной раз совершенно обессиленные, в крови и беспамятстве, но зато потом уж им долго не приходит в голову делать другому то, что не хочешь делать себе

самому.

Но, как я уже говорил, все начинается с марша саморазоблачения. Пацаны и девчата в поре половозрелости в этот день торжественно разоблачаются и в первозданном своем виде шествуют по улицам, проспектам и площадям нашего города, радуя глаз чистотой и упругостью форм; но, увы, *sic transit* они только один раз за всю жизнь, уже на следующий год *gloria mundi* осеняет новых питомцев, а недавние ее избранники принуждены исполнять обязанности иного возраста.

И вот мы все трое, в толпе сверстников, выступили маршем. Поэтесса, бледная, часто моргающая, улавливающая зрочками зверьков и птиц, передала через меня писателю очередное письмо. Оно было больным и диким, мне сделалось страшно, словно я потокаю преступлению. Там говорилось, что на берегу, на песке лежит полуженщина-полукилька с прямой посеребренностью, с блестящим привкусом во рту, металлически шуршит фольгой; серебряное тело разрезано точно посередине, и в срезе видна холодная презрительная плоть, сроднившаяся с мокрым песком, тяжело слипающимся в крупинки, вползающим в равнодушную, туго набитую

рыбную вонь.

Признаться, я даже захотел все рассказать отцу или, скорее, маме, чтобы посоветоваться, как-то разобраться...

Вечером того же дня родители поэтессы и родители писателя были у нас в гостях. Все три родительские пары были очень похожи. Наши мамы с полными, круглыми икрами — они становились факелами, когда их поднимали гордо над землей длинные древки каблуков — танцевали, прижавшись щекой к морским отцовским кителям, чтобы незаметно вдыхать налет коричневого размокшего табака да толченый запах острого одеколона.

Я не стал пока привлекать родителей, но признался писателю, что знаю о содержании писем, что мне лично они кажутся дикими и преступными, что меня смущает нежелание моих друзей вступить хоть в какую-то молодежную организацию, посвятить себя хоть какой-то добровольческой деятельности.

Писатель же уже тогда понес мне свою ахиною о языке. Что в прозе главное — язык. Слова. Терминология у него тогда — в подражание,

что ли, отцам — была военная. Он писал свой первый рассказ. Говорил, что отправляется за языком через линию фронта по минному полю. Язык, говорит, — пленный солдат или, лучше, офицер, пусть выдаст свои тайны.

Я ответил, что пусть, конечно, выдаст. Но сейчас дело в другом.

— В другом?! — переспрашивает он. — В другом?! — и уже, конечно, визжит: — Да знаешь ли ты, что я могу пойти за языком, а вернусь с «Рекой Потудань». Смерть. Грянет тогда по мне вечное «Пли!», бесконечное «Пли!» для хора с оркестром. Мне нужно отрезать себе веки, иначе я зажмурюсь, а зажмуриваться нельзя, надлежит смотреть правде в лицо: Андрей Платонов жалеет человека, что его ранили на войне, жалеет картошку, что с нее срезали кожу с мясом, он обоих жалеет одинаково, я так не хочу, так нельзя, а все равно он меня везде подстерегает, где хорошо — там он.

Он тогда, надо думать, подражал Платонову, я ведь, признаюсь, и в те далекие времена его не читал, уже по одним выкрикам и подпрыгиваниям я догадывался, что ничего толкового он не напишет, а мне нужно было поговорить с ним о поэтессе. Он

не захотел. Я подошел к ней, она выпила вина, ела яблоко, и сочное яблоко вспенившейся мякотью легкого безумия поблескивало у нее на губах.

Я не смог заговорить сразу, а стал искать какие-то обходные пути. Заговорили почему-то о Набокове, об «Аде», я даже обрадовался, что как раз через «Аду», маленькую девочку, подступлюсь к теме. А поэтесса вдруг заморгала сильно-сильно и сказала, что ничего особенного в «Аде» нет, что «Ада» — только слой нефти на поверхности моря, только старый коврик, покрывающий неубранные глубины, а гости уже на пороге...

А он подошел, взял ее при всех за руку и сказал:

— Ты не права. «Ада» — слой светлой холеной водки, отделенной ножом от шерстяного, домашней вязки томатного сока в коктейле «Кровавая Мэри».

Наши мамы танцевали и не обращали на нас внимания. Они покупали вещи, чтобы не было войны. Во дворе сохло белье, и мы были такими худыми, что могли заменить собой любую выбитую в драке доску забора.

Вот у поэтессы и родился мальчик. Никто ничего не замечал, а потом родился мальчик. Все были страшно разочарованы. Наши мамы наперебой стали вспоминать ужасное прошлое, когда запрещены были аборты, и когда одна из них, сейчас не помню кто, сняла со стены часы с маятником, отковыряла маятник и засунула его в себя, чтобы вызвать кровотечение.

Поэтесса никому ничего не сказала и поселилась одна в деревянном доме на окраине города, предназначенном на снос. Туда не ходил никакой транспорт, только трава могла туда добраться, подорожник например, и то у него уставали и затекали ноги. А писатель принужден был тогда оставаться в центре города, поскольку он тогда как раз опубликовал свой первый рассказ и ждал отклика критики. Но никакого отклика не было. Он ждал, ждал, а потом стал кричать, что теперь доволен полностью и окончательно, потому что удача ему теперь не страшна, потому что не будет удачи.

Ну, я тоже был занят, я уже начал сотрудничать понемногу с нашей уважаемой газетой «На краю» и пошел проведать поэтессу только через год. А она была с маленьким сыном в больнице. И ее маленький сын в больнице умирал.

Она улыбалась, но улыбалась как-то странно, безумно, как на приеме у дантиста. И все время говорила. Говорила, говорила, говорила. Говорила, что хирурги никогда не скажут «рука» или «нога», а все «ножка», да «ручка». Потому что они их отрезают — ножки и ручки. И эти отрезанные ими умело ножки и ручки словно их детушки родненькие, миленькие, ненаглядненькие. Какие из них дороже, разве скажешь про своих ребятушек?! Вот эта, может быть, ручка с обкусанным ноготком? Вот эта ноженка с черными волосиками, с пяточкой лубочной, желтенькой, растрескавшейся? Все дороже одинаково...

Потом мы опять долго не виделись. Говорили, что поэтесса бросила писать стихи. Вышла замуж то ли за мебельщика, то ли за экскаваторщика.

Опять о ней ничего не было слышно, и вдруг ее имя всплыло в связи с крематорием. Мы узнали, что она устроилась туда на работу и подписала контракт.

Крематорий выстроен, как орган. Вместе с теплым воздухом сожженный прах наполняет меха музыки и взлетает на небеса, растворившись в Реквиеме. Красиво. С блестящих лысых труб